

О том, как чтение Карла Маркса изменило имя человека, а за портрет поэта художницу сослали на театральное отделение

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1667>

17 января 2014

Собеседник

Сельвинская Татьяна Ильинична

Ведущий

Найденкин Михаил Сергеевич

Дата записи

Беседа записана 17 января 2014 и опубликована 2 июня 2016.

Введение

Во второй беседе Татьяна Сельвинская вспоминает о том, как в 1930-е люди жили в ожидании ареста, как отец писал «русский эпос», как после похорон Маяковского ему посоветовали застрелиться. Художница вспоминает, как из-за любви Сталина, Илью Сельвинского забыли в оттепель, как Пастернаку простили выпады против Мандельштама, а Сельвинскому против Пастернака — нет.

Михаил Сергеевич Найденкин: Татьяна Ильинична, я очень рад, что вы еще раз меня принимаете...

Татьяна Ильинична Сельвинская: Миш, прекратите, я этого не люблю.

М.Н.: Мы с вами договаривались, что вы расскажете о своем отце, в том порядке или беспорядке... так, как вы хотите, как вы помните. И начните с того, с чего бы вам хотелось начать.

Т.С.: Я немножко, может, повторюсь, я все-таки что-то говорила...

М.Н.: Конечно, конечно!

Т.С.: Я говорила, что если бы я была писателем, прозаиком, я бы написала о детях знаменитых людей, потому что это тяжелейшая судьба и несчастная, как правило, потому что родители своих детей немножко презирают и мало уделяют им внимания...



Татьяна Сельвинская с отцом Ильей Сельвинским

” Считалось, что Пастернак — хороший отец, потому что, когда его сына кто-то обидел на улице, он вышел и готов был за него заступиться — и уже это был подвиг. А так он тоже не очень обращал внимание на своих детей.

М.Н.: А это как?.. Это было как-то?..

Т.С.: Ну они заняты собой все!

М.Н.: А эта история с Пастернаком, это вы от кого-то слышали, да?

Т.С.: Ну мы дружили все! Первая моя любовь — Стасик Нейгауз, пасынок Пастернака! Это же мое детство, я в окружении этих людей была: Леоновы, Катаевы, Ивановы... Первый мой муж – пасынок Иванова. Сын, считалось, Бабеля, а оказалось — Мейерхольда, потому что на Мейерхольда он похож как две капли воды. Так что это я все знаю, наблюдала... Вот исключение — это Вячеслав Иванов, знаменитый академик, про него наверняка все знают.

И мой отец был исключением, он мной занимался с моих двух лет (то есть я себя помню с двух лет, может, он и раньше мной занимался). Пеленки он стирал, это известно. Он матери очень помогал, тяжести она никогда не носила. Он уже был подполковником и шел с ней с рынка с авоськами, его это не смущало, хотя многих это смущало... Он считал, что талант не приходит один, у него был роскошный голос, который он называл «баритональный бас». У него был абсолютный слух, и он рисовал. И когда я болела, он мне вырезал какие-то фигурки, развлекал меня всячески. Он на «Челюскине» плавал, его не было долго, и когда он вернулся и куда-нибудь уходил, я за ним бежала... Это рассказывали мне, я уже не помню. «Папа, ты уходишь?» — «Да». — «А потом придешь?» (*Усмехается.*) Мама моя работала один день. Значит, отец за матерью ухаживал три года, она была замужем за партийным большим боссом, богатым человеком по тогдашним временам. У них связи не было, он просто за ней ухаживал. Мать завела ребенка, и отец считал, что специально, чтобы его оттолкнуть. Значит, два года он ухаживал, на второй год родилась моя сестра, восьмого мая, а девятого мая мать ушла от мужа, поехала к моим будущим свекрови... Вы Михаила Анчарова такого слышали? Это был мой второй муж. Оказывается, мать моя с ними, с его родителями, была знакома, и она поехала к ним. Еще про Мишу Анчарова никто не думал. Как вы догадываетесь, на свете он был, он с моей сестрой примерно одного возраста. И она сказала обоим мужикам: «Чтобы никто ко мне не приходил, я должна подумать». И отец не пришел, а отец моей сестры пришел. И как только она его увидела, она поняла, что она с ним не хочет жить. Их день свадьбы — девятое мая — совпал с нашей Победой.

К чему я это говорю? Что моя мать ему досталась достаточно тяжело, он ее всю жизнь любил. Она и красавица была, обаятельная... Хозяйка... Так вот, она захотела пойти работать к отцу Миши Анчарова, он на электрозаводе работал. И один день она там работала. А папа дома, естественно, он же поэт, на службу не ходит. Сестра старше меня на четыре с половиной года, значит, мне, наверно, было года два. И мы, значит, в ночных рубашечках приходим к нему, две сиротки — и больше моя мама не работала. (*Смеется.*) Про мать тоже можно я расскажу немножко? Дело в том, что мать говаривала, что она окончила какое-то там городское училище. Мы с папой думали, что она ничего не окончила. Но она была удивительной внутренней культуры. А папа был вождем конструктивистов. Может быть, вы это слышали?

М.Н.: Да, конечно.

Т.С.: Это было уникальное общество, культурнейшие люди... И мать ходила на все их заседания...

М.Н.: Они же манифест выпустили. Он принимал участие в составлении манифеста.

Т.С.: Да. И она ходила на все заседания, выпитывала культуру... Как она себя держала, как за столом себя вела — как будто она воспитанница Института благородных девиц. Ну и обаятельная очень была. Вот. Еще помню эпизод... Я вам про «Челюскин», по-моему, уже рассказывала, да?

М.Н.: Расскажите.



Илья Сельвинский

Как Сельвинский чуть не погиб во льдах

Т.С.: С «Челюскиным» была грустная очень история... Кстати, Отто Шмидта я помню. Он подъезжал к нам, мы жили в Спасопесковском переулке, и я его в машине видела. Когда «Челюскин» застрял, Шмидт отправил папу с собаками к ледоколу «Лидке», чтобы «Лидке» пришел на помощь. Как папа думал, он хотел его спасти таким способом. Кстати, папа провалился в прорубь, а это, вы знаете...

М.Н.: Да-да-да.

Т.С.: У него радикулит...

М.Н.: Вы говорили, у него спина болела потом всю жизнь.

Т.С.: Да, радикулит на всю жизнь остался. Словом, до «Лидке» он добрался, но «Лидке» не смог пробиться. А самое ужасное было, что папу обвинили в трусости, что он сбежал. Шмидт опубликовал письмо где-то в прессе, что это он распорядился... А папа сбежать не мог, это потом было видно по фронту... Я вам рассказывала, что его наказали, с фронта забрав, или еще не рассказывала? Еще до этого не дошли...

М.Н.: Я читал у Максима Шраера об этом...

Т.С.: А, вы читали...

М.Н.: Но вы расскажите тоже, как вы это видите.



Вода и пламень, 2006

Как Сельвинского «наказали», отозвав с фронта

Т.С.: Мы-то думали, за стихотворение «России», а Шраер понял, что за еврейскую тему.

М.Н.: За то, что он один из первых поднял именно еврейский акцент в том, что немцы делали на Украине...

Т.С.: Да, что он... Вообще, понять, почему именно во время войны, когда уничтожали евреев, в России начался антисемитизм... До этого не было. Почему именно во время войны? Мы воюем с фашистами, и взяли их... Этого я понять никак не могу, и никто мне объяснить не может. Не говоря о том, что Иисус Христос, извините, тоже еврей. *(Смеется.)*

М.Н.: Я читал рекомендованный вами переведенный отрывок из книги Максима Шраера...

Т.С.: Уже в «Новом мире»?

М.Н.: Да-да-да. Я тоже, как и вы, не могу до конца понять...

Т.С.: Я не могу понять этой логики...

М.Н.: Вроде бы была взята Сталиным стратегия на консолидацию, в том числе на религиозную консолидацию...

Т.С.: Этот вот тост-то его: «За великий русский народ!» — и с этого началось...

М.Н.: И так далее. И при этом почему-то антисемитская тема уже прямо во время войны.

Т.С.: Да-да, именно во время войны.

М.Н.: Когда, казалось бы, он пошел на какие-то консолидирующие вещи.

Т.С.: Очень странная эта история. Он как бы до сих пор существует, но не так активно, как-то между делом. Антисемитизм существует до сих пор, но это не так влияет, как было... История с книгой этой, «Три богатыря», вы знаете. Сейчас я ее расскажу.

М.Н.: Конечно-конечно! Татьяна Ильинична, рассказывайте!

Т.С.: Значит, папа написал... Есть «Калевала», есть «Манас» — он создал эпос русского народа. Причем я была, когда специалисты обсуждали эту книгу. Дело в том, что часть былин подлинная, а часть папа сочинил. (*Смеется.*) Так они путали: где папа, а где... Я, честно, сейчас не помню, к какому начальнику он пришел и принес эту книгу — ему не разрешили ее печатать.

” Отец спросил: «А если бы вам принесли „Бориса Годунова“?» — «Смотря кто бы принес, — ему ответили. — Еврей не может написать эпос русского народа».

Вот так вот.

М.Н.: А в каком году это было сказано? Вы не помните, в какое время?

Т.С.: Как он написал, вы там посмотрите, когда (*1954 — ред.*). Уже антисемитизм...

М.Н.: Антисемитизм и борьба с космополитизмом...

Т.С.: Это уже после войны было, конечно, где-то пятидесятые.

М.Н.: То есть ему напрямую указали на национальность...

Т.С.: Да, впрямую.

М.Н.: ...и то, что именно по национальному признаку он не имеет права трогать подобную тематику?

Как отец заботился об образовании дочери

Т.С.: Да, прямым текстом. Но даже, напечатанная, она никакого резонанса не имела и не имеет до сих пор, вот такие у нас дела. Папочка мой, я вам рассказывала, по-моему, с очень ранних моих лет, наверно, все-таки лет с десяти, на полном серьезе рассказывал мне о своих замыслах, он мной занимался ежедневно. Каждое воскресенье, начиная с семи лет, он меня водил в какой-нибудь музей и, если сюжетная картина, он мне сюжет рассказывал, потому что был достаточно образованным человеком, он понимал эти сюжеты. Кроме того, он понимал классику. Он понимал живопись, и, в общем... сразу, с двух лет, мне говорили, что я буду художником, потому что я рисовала все время. Вот в этой книжке, вы знаете эту историю, что мы сидели на рельсах с ним...

М.Н.: Расскажите, пожалуйста!

Т.С.: В Переделкине мы садились на рельсы, поезд на нас ехал, машинист гудел вовсю, несчастный, у него инфаркт мог быть... Вставали почти из-под самых колес: воспитывал во мне мужество.



При папе мне вообще никогда не было страшно.

Папа же был еще и борец... Честно говоря, я действительно мало чего боюсь. Знаете, чего я боялась? Меня мама учила, что уважение к старшим должно быть — это очень помешало мне в жизни. Например, директор театра, он был старше. Как я справлялась с режиссером — это я до сих пор догадаться не могу... но я справлялась, и даже с этим, с Фоменко, но он меня и предавал. Это я вам рассказывала.

М.Н.: Да, про Фоменко вы рассказывали.

Т.С.: Вот когда меня отдали Фальку в одиннадцать лет... Правда, Тышлер говорил, что до четырнадцати лет нельзя трогать человека... Да, я начала с рассказа, что отца обвинили в трусости, а уже во время войны его нельзя было обвинить в трусости, его наказали... *(Усмехается.)* Это же один случай такой в истории, наверно, что человека наказывают тем, что забирают с фронта. Не отправляют на фронт, а забирают. И через год он пишет новое стихотворение, просит, чтобы его вернули. Его вернули, но не пустили в Берлин, и он считал, что оттого, что он не видел Победы, он не написал чего-то крупного о войне. Хотя у него достаточно стихов о войне, более чем достаточно.

М.Н.: А как он переживал эти вещи, вы помните? Как он в семье вел себя, в том числе...

О папином идеальном характере



Т.С.: Вы знаете, у него был идеальный характер.

М.Н.: ...во время переживаний таких?

Т.С.: Все равно, у него был идеальный характер.

М.Н.: Это что значит?

Т.С.: Ну, не накладывал на нас тяжести...

М.Н.: Не переносил.

Т.С.: Не переносил. (*Телефонный звонок, разговор с шофером.*) На чем мы остановились? На папином характере...

М.Н.: Да-да. Как вы сказали, у него идеальный был характер, и он тяжесть, которую сам нес, в семью не приносил.

Т.С.: Свои тяжести не переносил на нас. Думаю, даже на мать тоже не слишком, потому что мы бы по ней что-то чувствовали. Хотя, в тридцать седьмом, ложась спать, они ждали каждую ночь, что за ним придут. А тяжести в доме не было.

На даче мы жили в Переделкине. Вот дети Ивановых должны были гулять в саду, чтобы не мешать папочке работать. У Леоновых своя история, и так далее. Папа просил... У нас двухэтажный дом, папин кабинет на втором этаже, внизу — терраса и стол, и мы там сидим. Он только просил не громко и не шептаться. Громко ему мешает, а если шептаться, он начинает прислушиваться. (*Усмехаются.*) Чтобы нормально, чтобы было нормально.

М.Н.: А он дружил с кем-то близко?

Т.С.: Вы знаете, они так дружили с мамой, что поэтому... Друзья были, тот же Резник, например. Папа был уверен, что, кажется, так оно и было, он был к нему приставлен от КГБ. Но он в папу влюбился, и папу спас. Папа считал, что он его спас. Кстати, после смерти Зелинского говорили, что Зелинский тоже был тем же. И про мою первую свекровь, жену Всеволода Иванова, тоже говорили... Кто их знает... Кто что говорил...

М.Н.: А как эта тема...

Т.С.: Зелинский был теоретик, они дружили с Резником, Озеров Лев, поэт, — дружили с папой.

” И кто-то, я помню, к папе должен был прийти, а папа сказал, что он сейчас не может, он с каким-то человеком разговаривал. С каким-то довольно простым человеком... И ему сказали: «А что, вам интересно с таким простым человеком?..» Папа ответил: «Неинтересных людей нет».

Потом такой тоже был случай: у него было официально три инфаркта. А когда он умер, оказалось, миллион их, но мелкие, которые он перенес на ногах. Уже после трех инфарктов мы с ним идем по Переделкину, а впереди Щипачев после микроинфаркта. С дамой. Дама падает, Щипачев стоит, даже ей руки не подал. Папа мне сказал: «Я бы умер». Вот то, что было с Петей Фоменко, это я вам рассказывала, про Петю, как он меня поднял после инфаркта? Вот такие вот черты характера...

А потом, после войны, когда закрыли Музей западного искусства, открыли Манеж — а папа любил

живопись, продолжал туда ходить, — он потерял вкус к живописи, перестал в меня верить. Мама продолжала, несмотря ни на что, а у папы изменился вкус. Когда его вернули с фронта... Да, я училась у Фалька до войны. Началась война, папа был ответственным за отправку составов в Чистополь, эвакуацией занимался. Он забыл со мной попрощаться, что его потом очень мучило. Настолько он был занят организационными работами. И мы до 1943 года были в Чистополе. Когда папу вернули, мы тоже вернулись. Немножко раньше вернулись, чем папу вернули...

М.Н.: Вернулись в Москву?

Т.С.: Да, в 1943 году.

М.Н.: А как вы помните Москву 1943 года?

Т.С.: Не могу сказать. Она меня сейчас больше поражает. Когда я езжу и вижу эти дома невероятные, мне так нравится, честно говоря. Она совершенно эклектичная, у нее нет стиля, а мне это жутко нравится.

М.Н.: *(Смеется.)* Редко услышишь такое мнение.

Т.С.: Да-да, я знаю, что многие возмущены.

М.Н.: Вы вернулись в 1943 году, значит...



Берта Сельвинская

Как у Ильи Сельвинского «испортился вкус»

Т.С.: Когда мы вернулись, меня опять Фальку отдали. Родители, время от времени, приглашали Фалька

в гости. И тут начиналась война между Фальком и папой, потому что Фальк остался при своих убеждениях, а у папы вкус испортился. И он от меня отказался, а я поступила в это время в художественное училище.

М.Н.: Вот вы говорите, что вкус испортился, а что вы подразумеваете под тем, что он испортился?

Т.С.: Он перестал понимать тонкую живопись вообще...

М.Н.: То есть в каком направлении он перестал понимать?..

Т.С.: Какой Манеж был, эти портреты военные, я не знаю, социалистический реализм.

М.Н.: То есть вот в эту область, да?..

Т.С.: Он стал жанры признавать, предлагал мне жанровые картины писать, а я жанры не выносила, меня за это и сослали на театральное отделение, потому что полагалось композицию делать жанровую, а я как не любила, так до сих пор не люблю...

Вот, значит, и Фальк сказал: так как я уже учусь в училище, а его школа не совпадает, он от меня отказался. Потом его вдова говорила, что после ссоры с папой у него было плохо с сердцем. Но я вам, по-моему, рассказывала.

М.Н.: Это была прямо такая открытая ссора?

Т.С.: Ну спор...

М.Н.: Спор острый...

Т.С.: Нет, ссоры не было... Спор был. Но он в это время отказался брать с папы деньги. Это я вам рассказывала...

М.Н.: Да.

Т.С.: Когда он писал меня, он писал час и час лежал, то, что я сейчас делаю. Но ему было пятьдесят девять лет, как выяснилось. А мне казался он глубоким стариком... Сейчас полно женщин, шестьдесят лет с лишним — роскошные бабы ходят. С мужиками труднее, мужики себя сдают... Миша, это, правда, от вас зависит — старость зависит от самого человека. Как себя опускают, пуза себе вот такие, и вот такие ходят... Я совершенно убеждена, что мозг, и это подтверждается, на месте не стоит: либо он идет вперед, либо назад. Либо ты мудреешь с годами, либо ты дуреешь. Правда. И молодость души сохраняется. Вот вы говорите, что над собой работаете, — это оно и есть. И дай вам бог дальше...

М.Н.: Спасибо! Татьяна Ильинична, вы говорили в предыдущую нашу встречу, что ваш отец был искренним коммунистом, и что даже...

Т.С.: Да, сейчас не верят этому...

М.Н.: И что, прочитав Маркса, он второе имя себе взял Карл.

Т.С.: Да, имя Карл. Причем Евтушенко в какой-то своей передаче заявил, что это настоящее его имя Карл, а Илья он себе придумал.

Все наоборот. Но Евтушенко на него обижен не зря. У меня был и Вознесенский, и Евтушенко. Когда у них началась слава, отца моего в это время забыли. Я не могу сказать, что они писали лучше него, но его забыли, и ему было очень обидно. И он написал против них статью, против их творчества. И я помню, как мне стыдно было идти в школу от этого... И была у меня передача, не помню, с Максимовым или с Макаровым, я сказала, что это — один из худших поступков моего отца, и я прошу у них прощения. Вознесенский еще жив был. И я кому-то сказала, не знаю, передали ли, Зоя уж наверняка знает, мне сказали. *(Смеется.)* Так что они обижены были, справедливо обижены.



Свет-окон, 2014 (триптих)

«Коммунисты ушли в подполье»

М.Н.: А этот так называемый искренний коммунизм, в чем он проявлялся?

Т.С.: Он верил Марксу...

М.Н.: И 1930-е годы, и то, что происходило с ним в 1940-е...

Т.С.: Он в теорию верил.

М.Н.: В теорию верил?

Т.С.: В теорию. А потом он говорил, что коммунисты ушли в подполье.

М.Н.: Когда?

Т.С.: Когда все началось, гадость эта...

М.Н.: Когда, в 1930-е годы?

Т.С.: Уже, наверно, после войны.

М.Н.: После войны?

Т.С.: Думаю, что да.

М.Н.: Говорил, что коммунисты ушли в подполье? Настоящие.

Т.С.: Да. Он в это верил. А мне сейчас, я общаюсь с людьми, люди не верят, что он был искренним.

М.Н.: А что значит: «Коммунисты ушли в подполье?» Как вы считаете, что он имел в виду?

Т.С.: Ну, что творилось же бог знает что, он понимал, что что-то...

М.Н.: Что идея была подменена бюрократической машиной? Вы помните какие-то его слова?

Т.С.: Что?

М.Н.: Что идеалы 1920-х годов, коммунистические, были подменены определенным образом, бюрократизированы...

Т.С.: Ну конечно-конечно... Просто сам антисемитизм, это что: это когда все время равенство народов, да?

М.Н.: А он что-то говорил про антисемитизм, например?

Т.С.: Наверно говорил, говорил, конечно... Возмущался какими-то вещами... Ну и то, что они ждали каждую ночь, ждали ареста...

М.Н.: А это вы помните сами?..

Т.С.: Это я помню.

М.Н.: Помните?

Т.С.: Да. Когда я приходила, я давала два звонка... Я помню, пришла поздно — дала один звонок, и они мне сказали, что желательно, чтобы я давала два, что один — значит, это не я. Это я помню.

М.Н.: А они обсуждали какой-то план действий? Помимо этих двух звонков, была еще семейная какая-то договоренность по поводу действий, если будет арест, вы не помните?

Т.С.: Нет-нет... Не было, этих разговоров не было, просто ждали...

” Единственное, что было, — то, что было нам известно: что Сталин любил Пастернака и папу, почему он их обоих не тронул. Хотя одного из его студентов посадили, и следователь на него пепельницу ставил, полную окурков, говорил: «Досье на Сельвинского большое, он уже арестован, видите, он накурил сколько тут?!» А студент знал, что папа не курит.



Отец, Илья Сельвиский, мама, Берта Сельвинская и сестра Цецилия

Образ жизни отца

Т.С.: *(Рассказывает о сыне.)* В шестнадцать лет, не беря до этого кисти в руки, Кирилл написал роскошный натюрморт. Он у нас там стоит. Но характер у него... У него нет страсти к этому. Вот я без этого жить не могу. Не передалось, от нас с папой это ему не передалось. Папа работал... В восемь утра он вставал...

М.Н.: Да, вот как? У него был режим какой-то?

Т.С.: Да, у него был режим. Обед был, и до шести вечера он работал. Потом отдыхал.

М.Н.: То есть где-то с девяти или с восьми до шести вечера, так?

Т.С.: Да-да. В восемь он вставал, завтракал, с девяти, допустим...

М.Н.: А свою знаменитую физическую форму он поддерживал как-то?

Т.С.: Знаете, он настолько ее поддержал в юности, что она у него не уходила. Немножко, чуть-чуть «пузико» появилось, но не сильно.

М.Н.: А как он справлялся с болями в спине после того инцидента?

Т.С.: Ему утюги клали, иногда обжигали...

М.Н.: Он сильно страдал из-за этого?

Т.С.: Страдал. Честно говоря, у меня тоже это бывает. Но у меня есть роскошный массажист, мой друг, который меня лечит не за деньги, а за картины. Долгое время я ему платила, он брал с меня небольшие

деньги, ему было стыдно, что он берет деньги, а мне было стыдно, что я плачу маленькие. И тут я захотела подарить ему картину. Он говорит: «Подождите, это — работа? Картина три тысячи долларов стоит?» — «Стоит». — «А я стою пятьдесят долларов». Сейчас уже сто пятьдесят. Но мы так и остались с ним. И у него тоже мои картины есть... А у Фоменки мы еще с вами не были, да?

М.Н.: Вы сказали, что у вас со спиной проблемы как раз из-за работы.

Т.С.: Он мне снял радикулит, снял, но у меня проблемы: я же стояла по одиннадцать часов перед мольбертом. При этом я успевала гораздо меньше, чем сейчас, когда я пишу иногда пятнадцать минут, полчаса или час. (*Смеется.*)

М.Н.: А почему так?

Т.С.: (*Вздыхает.*) Опыт...

М.Н.: Опыт?

О своих методах работы

Т.С.: Опыт. Я раньше писала, я знаю, что надо писать. Сейчас я пишу ровно столько, сколько понимаю, что я делаю... Более того, я жду, что холст мне подсказывает. Я теперь вообще эскизов не делаю. Мне одна искусствоведша сказала: «Вы представляете, есть художники, которые не пишут эскизы!» Я говорю: «Я». Еще что-то она мне, а я ей опять говорю...

” Я придумываю и набрасываю — и жду, что мне подскажет холст. И он подсказывает.

Уже мой ученик маленький, самый маленький, это понял. Он мой портрет начал писать, придумал какие-то штуки... Я говорю: «Как?...» — «Холст подсказал». Нет, опыт, действительно... Более того, я сейчас пишу одновременно много картин, не одну. Я одну пишу, она стоит, сохнет.

Кроме того, вот сегодня я чувствую эту картину, а эту — не чувствую.

Я на этом очень настроена, и поэтому, конечно, у меня зря почти никогда время не идет. А раньше просто мазала. У меня есть палетик из восьми картин Гамлета, он в Малом Манеже сейчас, там картины метр восемьдесят на два метра. Нет, метр шестьдесят, наверное, на два метра — огромные картины, восемь штук, — и я осела на десять сантиметров, это же спина...

М.Н.: Настолько позвоночник осел, да?

Т.С.: Да. Ну вот, он меня лечит, держит. Стоять я не могу. Тициана я даже не пошла смотреть. Во-первых, лестница эта сумасшедшая; кроме того, я просто не могу ходить. Я хожу только в Бахрушинский музей, потому что мне там ставят стул, я сажусь и так смотрю. Бахрушка — это вообще мой дом.



Заря, 2012

О поездке отца в Париж

М.Н.: Татьяна Ильинична, а были какие-то истории, которые папа вам рассказывал? Может быть, какие-то любимые истории из его жизни. В семье, вам лично... Любил ли он шутить? Может быть, какие-то шутки?

Т.С.: Ну, знаменитая история, как он оказался за границей. Я вам не рассказывала?

М.Н.: Нет, расскажите.

Т.С.: Не рассказывала?

М.Н.: Нет.

Т.С.: Это, по-моему, 1934 год. Его били за «Пушторг», когда он написал «Пушторг». Вы читали «Пушторг»?

М.Н.: Ага.

Т.С.: Прочитал?

М.Н.: Да.

Т.С.: Его били жутко, я сама помню... Мы жили в Спасопесковском переулке, и я выходила во двор, все домработницы читали статьи, которые его поносили.

”

Когда Маяковский умер, застрелился, папа стоял у гроба, и, я забыла, кто, подошел к папе и сказал: «Теперь ваша очередь».



Автопортрет с зеркалом, 2014 (смешанная техника)

Папа считал, что его спасла семья. Практически мать это сделала. Какие-то деньги были, папа переводами зарабатывал, так что мы жили безбедно... То есть когда мама за него вышла, он был нищий, и он писал такие стихи... «раек» это называлось, по-моему, и мама ходила на рынок — считалось, что на рынок, — где-то торговала этими стихами. На это они жили. От богатого мужа...

М.Н.: А какой язык он знал, с какого языка он переводил, вы говорите?

Т.С.: Нет, это он сам сочинял. А, когда он переводил?

М.Н.: Да.

Т.С.: Он переводил наших народов... Считается, что он плохой переводчик, потому что он сочинял вместо них стихи. А они обожали его, тот же Джамбул... Омара Хайяма очень много сейчас перепечатают. Вот где папу печатают — это когда Омар Хайям. Тут папа во всех книжках. А так — вот особенно Джамбула я помню, и Джамбул очень был доволен. Папа за них сочинял.

Так вот, его били за «Пушторг», неожиданно... А его любил Щербаков. Это его идея взять, отца с фронта.



Он его к себе вызвал, спросил: «Чего вы хотите?» И папа сказал: «Я хочу поскучать по России». Ничего, да? И Щербаков не посадил.

М.Н.: Нагловато, да, с вызовом сказано.

Т.С.: Да. И он отправил, значит: Кирсанов, Луговской, Багрицкий... нет, не Багрицкий... неужели Багрицкий?.. и папа. Это в биографии Резника наверняка есть. Луговской, Кирсанов — это я точно помню. А кто был четвертый — мне кажется, не Багрицкий. И они поехали в Париж. В Париже очень интересно: там белогвардейцы наши были. Устроили концерт. Папа читал «Сивашскую битву», против белогвардейцев стихотворение — они ему устроили оvation. Вот такой был эпизод.

М.Н.: Вот вы сказали, что на похоронах Маяковского к отцу кто-то подошел и сказал: «Вы следующий...»

Т.С.: А, я начала рассказывать про маму, как она его спасала, да?

М.Н.: Да, в том числе. Сейчас вот этот эпизод, что отцу сказали: «Вы следующий...»

Т.С.: Да.

М.Н.: Вы, в данном случае, намекаете на то, что...

Т.С.: Что он должен застрелиться. Он ему сказал: «Теперь ваша очередь стреляться!» Чего вы не поняли?

М.Н.: А я хочу понять подтекст...

Т.С.: Его били, его травили, ну и что ему остается? Значит, мать что сделала? Я начала с того, что деньги были — и отвлеклась. Какие-то деньги поделила пополам. У нас бабушка, мамина мать, была, она оставила матери деньги, нам с Цилей, а папе купила билет, причем он не знал, он с закрытыми глазами шел, так договорились они, к платформе, чтобы он не знал, куда ехать. Из Елисеевского магазина можно было заказывать в поезд. Когда мы его провожали, всегда там лососинку мы ели... Из Елисеевского магазина привозили прямо в купе еду. Она его увезла, и там не было газет. Он считал, что она его спасла.

М.Н.: Это когда было?

Т.С.: Боюсь соврать, это связано с «Пушторгом», а «Пушторг» до «Челюскина» был, значит, наверно, это было до. Я говорю, это Резника надо читать. У нас эта книжка есть, прочесть ее я вам всегда дам, а смогу ли я ее вам подарить, я сейчас не знаю. Я думаю, там это все есть...

М.Н.: Татьяна Ильинична, я хотел еще узнать...

Т.С.: Мишенька, не слышу.

М.Н.: Хотел вас еще спросить, как вы проводили... Были ли какие-то семейные...

Т.С.: Были что?

Семейные праздники

М.Н.: Как вы проводили семейные праздники? Какие-то, может быть, особые дни у вас были семейные?

Т.С.: У нас и гости бывали...

М.Н.: И кто у вас бывал в гостях? Кто вам запомнился?

Т.С.: Паустовский был... Кто у нас был... На даче они все время друг с другом общались.



Мать замечательно готовила, и когда были гости, у нас стол был роскошный. Меня всегда допускали, только папа говорил: «Не задавать вопросов, что поняла, то — твое».

Чтобы я не вмешивалась. Всеволод* Иванов, Кома имел право, какая бы ни была публика, мальчик одиннадцати лет, мог выражаться или разговаривать, и с ним общались. Я молчала, но слушала. Меня не выгоняли, потому что отец меня обожал, это известно и даже написано... Афанасьева, по-моему, ее фамилия, она — двоюродная сестра Стасика Нейгауза... Все знали, что у нас любовь со Стасиком, у меня с шести до шестнадцати, а потом он меня променял на другую. *(Усмехается.)*

* Оговорка: Вячеслав.

О стихах отца и фильмах о нем

М.Н.: Татьяна Ильинична, а как вы думаете, почему ваш отец был, как вы сказали, подвергнут забвению?

Т.С.: Почему сейчас?

М.Н.: Почему в то время, в тот период, когда были популярны Евтушенко и Вознесенский, и почему сейчас.

Т.С.: В советское время я даже не очень понимаю, почему, а сейчас из-за коммунизма, это я точно знаю. Сейчас эта тема не популярна... Вот Анненков или Аннинский, как его? Как правильно?

М.Н.: Второй вариант.

Т.С.: Аннинский?

М.Н.: Да-да.

Т.С.: Он сделал о нем фильм. И он коммунист там. Читает известный актер (на «ч», грузинский), плохо читает. Папа роскошно читал, полно записей, он не воспользовался...

М.Н.: На «ч» — Чонишвили, что ли?

Т.С.: Да-да. И какое-то одно стихотворение о России он взял, и еще какое-то — только коммунистические стихи. После этого фильма никто не захотел бы его читать, я совершенно в этом убеждена. Вот Евтушенко делал о нем фильм, и он к папе... с раздражением, но когда начинает папу читать, он с таким восторгом это делает, что всё остальное не важно. И статью о нем написал, не очень хороший текст, а потом дал подборку — дай бог каждому. С Евтушенко у нас особые отношения, он меня один раз подвозил и начал мне выговаривать, но тоже, что папа стихотворение про Пастернака написал, там две строчки... Я вам рассказывала эту историю? Нет?

Но тоже, что папе не прощают. Когда травили Пастернака, он напечатал стихотворение, в котором две строчки, что он «замутнил источник, который был так чист». Он это стихотворение маме не показал, мама бы не допустила, чтобы он его напечатал. Но он считал, что он коммунист, с него спросят, он должен говорить. Это тоже не самый лучший поступок моего отца. Но я говорю.



Аутодафе, 2007

”

Я говорила и по телику, что отцу не прощают этого стихотворения, а Пастернаку простили Мандельштама. Причем от папиного стихотворения на Пастернака ничего не менялось, а от слов про Мандельштама, я не утверждаю, что помогло бы, но шанс был. Вы знаете историю, что Сталин звонил Пастернаку, знаете? И спрашивал: «Он мастер или нет?» Всего лишь Пастернаку надо было ответить, и он не ответил.

Ну что ты будешь делать? А папе не прощают этого стихотворения. Какая-то слабость, видимо, у папы стала, после того как его потравили хорошо. А на фронте он в Керчь вошел вместе с первым мотоциклом. Его там, кстати, очень чтят. Там катакомбы, у него есть стихотворение о них. И в этих катакомбах это стихотворение читают сейчас.

Я вам рассказывала о письме, которое он нам прислал в Чистополь? Нет. Значит, в Чистополь он прислал нам прощальное письмо, что он агитировал конницу идти в атаку, и, естественно, он первый и подписался, и что он уверен, что живым из этой атаки не выйдет. Надо вам сказать, что у меня было...



У меня есть ангел, предупреждаю вас заранее. У меня есть еще один доктор, верующий, а я вроде нет. И он надо мной смеется, что я в Бога не верю, а в его слугу верю. Но если человек плохо по отношению ко мне поступает, я не желаю ему зла, но ангел очень жестоко с ним обращается.

И наоборот. Вот я была уверена, что с моим отцом ничего не случится. Правда, это тоже и у Кирилла, тут я грохнулась носом, он тоже мне рассказывал, что он в это время не испытывал никаких чувств... Пока длится эта ситуация, вроде и нервов нет... Когда заканчивается, тогда реакция начинается. И я была уверена, что с ним ничего не случилось, но он потом прислал письмо, что немцы, узнав, что идет конница, выставили танки. И как ни странно для нас, убрали конницу. Вы же знаете, что молодых, безоружных бросали на пулеметы, что на минное поле посылали, это вы все знаете. Какой-то ужас! И это социалистическая страна?.. Вот так мы живем с вами... Да, к чему это я?

М.Н.: Вы начали рассказывать про письмо, которое он написал.

Т.С.: Прощальное письмо это было.

М.Н.: А у вас сохранилось оно?

Т.С.: Да... У меня все в архиве, мы сдали в архив, в ЦГАЛИ. Что там есть, я не знаю сейчас. Может, сохранилось, может, нет...

М.Н.: Вы плакали, да, наверно, когда читали?

Т.С.: Это мать могла сохранять. Что?

М.Н.: Плакали, когда читали, мать показала вам письмо это, да?

Т.С.: Я не плакала, я была уверена, что с ним ничего не случится... И мать не плакала, она женщина мужественная была. Она в Чистополе ходила... Все ходили в одеялах, бабы, а она ходила в роскошном белом песце... Отец же про нее написал в стихотворении «Белый песец»: «...Мой драгоценный, мой белый песец».

Еще даже и Пастернак говорил, что оттого, что ее видят, они верят, что победа будет. А потом, когда кончилась война, у всех оказались наряды, а у мамы не было, но недолго. *(Оба смеются.)* С мамочкой это недолго продолжалось. Нет, у нас... Мать мужественная была, истерик не было в доме. Не было.

М.Н.: И вам это передалось, да? Вы говорите, что мало чего боялись в жизни?

Об опыте работы с театральными режиссерами

Т.С.: Меня воспитывал отец, чтобы я ничего не боялась. С директорами, я себя перед ними чувствовала какой-то... А с режиссерами... Я до сих пор не могу понять... Вы не представляете, что это за народ! Вот этот — лучший человек был, Орлов. Это друг, и вообще ангел. А с остальными — вот Феликс Берман, гениальный режиссер, недооцененный — характер чудовищный.

М.Н.: Вы, когда говорите про режиссеров, хитро улыбаетесь, вы столько выдержали баталий...

Т.С.: А сколько они меня научили!

М.Н.: Столько выдержали тонких творческих взаимоотношений в коллективе, тогда каждый чувствует себя главным, да?

Т.С.: Режиссер, конечно. Отчего Фоменко меня не брал, я же вам рассказывала? Слишком хороша оказалась. Тут я не боюсь этого сказать... В принципе, считается, что я с ними со всеми спала, поэтому они со мной работали.

М.Н.: (*Смеется.*) Это где так считается?

Т.С.: А Андреев, Володя Андреев, когда я с ним работала, в присутствии других людей сказал: «Ну почему вы держите так дистанцию?» Я говорю: «Володя, я всю жизнь работаю с мужиками, и первое, что я им даю понять, что как на мужиков я на них не рассчитываю. Два из них любили меня всю жизнь: вот этот и вон тот». Ну и чего...

М.Н.: А вот этот, это...

Т.С.: Это Орлов. Челябинский театр его имени сейчас. Все из Одессы. Тот гениальный был, но только у того характер чудовищный.

М.Н.: Расскажите немножко про них.

Т.С.: Про режиссеров?

М.Н.: Да.

Т.С.: С удовольствием!

М.Н.: Расскажите.

Т.С.: И Левитин был тоже, мальчик еще совсем, такой интересный... Потом мы с ним расстались и разошлись, все-таки все равно он меня любит и помнит, даже выступал на каком-то... Тридцать лет дружбы, когда он — мальчик, а я старше его на двадцать лет, если не больше. Рассказать про режиссеров — с удовольствием. Про Наума... А, кстати, вы могли читать, я вам дарила мемуары, да?

М.Н.: Ага.

Т.С.: Там сказано, что я была умопомрачительной, не влюбиться в меня было невозможно. И надо отдать справедливость его жене, ей говорили, что я — его любовница, но она, наверно, понимала: зачем мне... Я могла быть женой, но я этого не хотела... Он был жутко в меня влюблен и решил, наверно, меня подогреть, что у него любовница есть. Он мне рассказывает, при жене, какой-то другой, еще первой. Как только он мне это рассказал, с меня все сошло... Но есть фильм о нем, мы с ним вдвоем там сидим, и сказано, что я — его муза. Более того, когда ему исполнилось лет семьдесят, по-моему, был вечер, и капуста была, и там шла речь, а я сижу в одном ряду с его женой, и там говорят: вот, муза Орлова — это Сель... муза у него... Ему там говорят: «Роза», это жена, а он говорит: «Не, Тата Сельвинская». И она — ничего, терпела, потому что благодаря мне, он на ней женился. На своей той любовнице он не женился, потому что она мне не нравилась. Он мне сам потом сказал. А про эту я ему сказала, она у меня жила месяц, что вот эта как раз. А мой доктор, Димочка Штильман, о котором я вам рассказывала, говорит: «А если бы вы вышли за него замуж, вы бы перестали быть его музой». Это правда, это так. Но вот с ним, в смысле творчества... он принимал все, что я предлагала, кроме последнего раза...

М.Н.: А полное имя как его было?

Т.С.: Наум Юрьевич.

М.Н.: Наум Юрьевич, ага.

Т.С.: У меня о нем текст есть. Нет, в этой книжке нету. О Бермане у меня есть статья. Значит, последний его спектакль — «Забить Герострата». И я придумала, чтобы на полном костюме сверху были надеты тоги. И ему это не понравилось. Он не хотел современности и очень меня просил менять, а я сопротивлялась. Наконец он мне говорит: «Тата, это же первый раз в жизни!» Я приехала и все исправила, как ему нравилось. И он умирает. И я приезжаю уже на вечер его памяти. И мы надеваем на актеров, на их

костюмы, эти тоги, и я им говорю: «Все равно костюмы остались теми». Но он был замечательным.



Анастасия Кислицына «Вермеер», 2005

Об отцовской ревности

М.Н.: Татьяна Ильинична, я хотел вам задать такой вопрос, имеющий психоаналитический, фрейдистский характер: в отношениях с режиссерами или в отношениях с мужчинами на протяжении вашей жизни ваш отец повлиял на ваше восприятие?

Т.С.: Ревновал ужасно.

М.Н.: Ревновал?!

Т.С.: (*Смеется.*) Конечно! К мужьям.

М.Н.: И об этом расскажите. Как-то потом вы его искали, может быть, в мужчинах?

Т.С.: Кого искала?

М.Н.: Своего отца. Был он для вас каким-то образцом, идеалом?

Т.С.: Конечно, мои мужики до него не поднимались, это правда. Это правда. Когда последний раз у него инфаркт был, у нас была ссора... Мы переехали сюда, мой муж поссорился с отцом, и мы переехали. Я поехала к отцу, и он сказал: «Я знаю, что ты меня, все равно любишь больше, чем всех своих мужиков».

А первая самая большая ревность была к Мише Иванову. Это первый мой муж, пасынок, я вам говорила, Миша Иванов — сын Бабеля или Мейерхольда. Там мамочка была — дай бог... Она пришла к отцу сватать Мишу, не к отцу, а к отцу с матерью, естественно. Они сказали: «Нет». А мне девятнадцать лет... Но когда они мне сказали, что отказали, я стала плакать, тогда они дали свое согласие. Через полгода моя свекровь — а свекровь у меня была с характером еще тем — и она заявила, что между нами уже есть трещина... Дело в том, что Миша узнал, это есть у меня, по-моему, в тексте, что он не сын отца, Иванова, в шестнадцать лет, и с ним об этом ни отец, ни мать не поговорили, а только няня. Няня ему говорила, что отец не тот, кто родил, а тот, кто воспитывал. Няня его успокаивала. А мать там, она страшная была. Я сама слышала, как она ему год сделала меньше, чтобы он в армию не попал, и как она ему говорила, что надо унижаться, потому что надо... И он себя чувствовал уже каким-то совершенно заморышем... И когда она стала нас разводить, не стал сопротивляться. Тогда два раза надо было в суд: сначала районный, а потом еще какой-то, и в первом суде, когда нас разводили, судья стал говорить, какая я, что одни наряды меня интересуют, еще какие-то гадости, я поняла, что она пришла, ему наговорила. А Миша сидит рядом и молчит. На втором суде нас стали разводить, уже у меня был Миша Анчаров. А у него, я знала, были дамы.

М.Н.: А в чем ревность вашего отца проявлялась?

Т.С.: Вот сейчас, про второй суд расскажу, уж раз начала... Они его спрашивают: «А у вас есть кто-то?» Он говорит: «Нет». Я на него еще так посмотрела... Меня спрашивают: «У вас есть?» Я говорю: «Да». Они вышли и там хохотали до неприличия. Значит, развели нас, а Миша стал за мной бегать. Мы же живем в одном доме: я на пятом этаже, а он — на четвертом, и учимся в одном учреждении. Он ждал меня, чтобы мы вместе ездили в институт. Один раз мы были на вечере, вернулись, значит, и почему мы оказались между этажами, я не очень понимаю: то ли лифт не работал, и мы поднимались? Мы оказались не на четвертом и не на пятом, а между. Это уже ночь, часов одиннадцать ночи, и мы разговариваем. В это время открывается дверь пятого этажа, мой отец в торбах и в мамином халате на левую сторону (салатного цвета): «Я тебя убью! Я тебя убью!» А на четвертом этаже жил военный. Он выходит с револьвером. Посмотрел на нас, понял ситуацию. «Я тебя убью!» — а я ему сказала: «Я тебя ненавижу». Мишка убежал к себе, мы пошли к себе домой, я редела на своей постели, а папа на коленях стоял всю ночь и просил у меня прощения... Потом папа меня увез в Таллин, чтобы я этого Мишу забыла. А Миша меня потом любил всю жизнь. А моя «любимая» свекровь потом локти себе кусала, и когда у меня родился сын, она пришла к нам в гости, подарила ему игрушку... И вот эту книжку моя сестра дала ей прочесть, которую я вам подарила, черную: «Какая Тата молодец!» Но если бы нас не развели, из меня бы ничего не вышло, потому что даже сам Миша... Я же ученица Фалька была, и в школе, и в институте я была последней. Причем в школе учитель меня хвалит, а отметку мне ставит тройку. Это я вам рассказывала, да? Я приходила домой, плакала, мама меня обнимала и говорила: «Я в тебя верю», А в Институте Сурикова, после третьего курса, за то, что я написала этот портрет, папин портрет вместо жанровой композиции, меня сослали на театральное отделение. Это я рассказывала, да?

М.Н.: Ага.

Т.С.: Я не помню.

М.Н.: Да-да-да. Я думаю, что мы еще потом с репродукции сделаем копию.

О внутреннем диалоге с отцом

Т.С.: Да, за что меня сослали. Они одного пейзажиста, который только пейзажи писал и был уже членом художественного совета комбината, тоже сослали на театральное отделение. Вместо того чтобы учить писать пейзажи, а меня портреты, допустим. Слава богу, не учили. Но меня многому научил Миша Анчаров, который не был моим самым лучшим мужем, в смысле любви. Он на мне женился, считая, что я — богатая невеста, но при этом он очень много мне дал... Меня учили писать портреты охрой. А Миша сказал: «Нет, кадмием». Он много чему меня научил, именно по живописи. Он сам учился там,

он талантливый был художник.

М.Н.: А вы сохраняете внутри себя какой-то внутренний диалог с вашим отцом?

Т.С.: Да, конечно.

М.Н.: Он в ваших...

Т.С.: Стихи же пришли от него, я вам рассказывала!

М.Н.: В вашем творчестве как вы его видите? Как он к вам приходит?

Т.С.: Меня же мой псих один, психолог, извините...

М.Н.: Это психолог из...

Т.С.: Андрюша Плигин. Андрей Плигин — это очень известное имя. Он мной интересовался уже давно, он учится у меня три года, а знакомы мы лет пятнадцать.

Он меня спросил: что у меня от отца? Я сказала — масштаб.



Он говорит: «Что, большие картины?» Сейчас он уже понимает. Масштаб мыслей должен быть, чтоб не мелочиться. Не мелочиться...

М.Н.: А в этой технике, когда вы говорите, что сначала делали эскизы, а сейчас холст сам подсказывает...

Т.С.: Я все-таки набрасываю. Вот в этом набросан. Я ни одного рисунка не сделала для того, что здесь нарисовано. Мне это подсказала моя ученица... А когда я ей говорю: «Триптих». — «Как триптих, мы же только про одну говорили!» Она увидела вот эту занавеску и говорит: «Там лицо». Ну вот, а я придумала триптих. Он теперь сохнет. Теперь я думаю дальше... Во-первых, я придумала сюжет. Понятно: один и двое. Дальше идет замысел живописный: от чего к чему должны прийти... Тут цветочки есть, я думала начать с цветочков, а сегодня поняла, что цветочками надо заканчивать. Просто надо думать. Вот не знаю, что я вам ответила: на это или не на это... Мне каждый год предлагают у Фоменки выставлять. Это Островский у Петра Фоменко. Мы с ним делали «Без вины виноватые», вы не видели спектакль?

М.Н.: Да, я вам говорил, что не видел.

Т.С.: Я не знаю, идет он сейчас или нет. Думаю, что нет: там умерли многие, и потом Борисова, говорят, стала бояться спускаться по лестнице... А так она вообще ничего не боялась. Уникальная актриса. Что-то вы меня спросили...

М.Н.: Я хотел у вас спросить вашу точку зрения на вопрос о том, насколько полноценны разговоры об искусстве, например...

Т.С.: Полноценны разговоры?

М.Н.: Насколько полноценны разговоры о живописи? Насколько совместимы слово и мысль? Насколько совместима мысль с искусством, с живописью?

Т.С.: Совместимы.

М.Н.: Как вы видите это совмещение?

Т.С.: Вполне совместимы, мы с моими ребятами, с психологами, прекрасно совмещаем.

М.Н.: В смысле?

Т.С.: А хотите, мы зайдем туда?

М.Н.: Может быть... Потом мне интересно, как вы чувствуете контакт между рациональной культурой и художественным творчеством, живописью.



Набат, 2012

Искусство должно быть умным

Т.С.: Понимаете, мысль — я не считаю ее рациональной.

М.Н.: Я, естественно, огрубляю, но как вы видите это?

Т.С.: Я не знаю, но вообще-то искусство должно быть умное.

М.Н.: Искусство должно быть умное, да?

Т.С.: У меня одна девочка пришла учиться, талантливая девочка, но глупая. И вот я не знаю, что с ней делать.

М.Н.: То есть в данном случае вы считаете это некоторой аксиомой, что искусство должно быть умным?

Т.С.: Потому что мозг, голова не только для того, чтобы ею есть. Причем она не должна превалировать над чувством. Но это — не моя мысль, что чувство должно быть умным, а голова, мозг — чувственным. Это соединение должно быть, да. Ну а чего, замысел... Ведь существует такое понятие, как замысел...

М.Н.: И несмотря на замысел потом можно отдаться во власть холста на какое-то время?

Т.С.: Да-да, он тебя поведет! Я говорю, даже когда я в театре работала и макет сдавала, я никогда не тащила к макету, я смотрела, что получается. Потом я смотрела, какую мизансцену строит режиссер. И часто в costume что-то меняла, в зависимости от его мизансцены. А, вы просили про режиссеров.

Вот Феликс Берман. До меня он поменял трех художников. И когда меня к нему привели, директор сказал: «Вот последний художник, больше я не позволю вам...». А он учился у Герасимова, режиссер Андрей Герасимов. Это я вам не рассказывала? Вы только останавливайте меня.

М.Н.: Рассказывайте, рассказывайте, Татьяна Ильинична...

Т.С.: Нет, если я повторяюсь, вы останавливайте, ладно?

М.Н.: Хорошо.

Т.С.: Потому что я не помню, что я говорила, что — нет. Он ему сказал: «С женщиной иметь дела нельзя: у нее ребенок, у нее муж, она будет вечно опаздывать...». А у него «выходки» уже не было, это моя мама так говорила: «Выходки нету». Сейчас вся Москва говорит: «Выходки нет», — и вы тоже будете!

М.Н.: (Смеется.) Я не слышал, теперь буду. Да?

Т.С.: В общем, кончилось тем, что я делала макет, причем, это был симоновский «Четвертый», пьеса называлась «Четвертый»...

” Я тоже хитрая бываю: мой замысел когда я рассказывала, я начала с ерунды, а кончила масштабом. Он был в совершенном восторге, и я делала макет, а он на балконе качал моего ребенка.

Я никогда не опаздываю, делаю все заранее. В этом смысле театр меня... Я очень ленивая, вы не представляете себе, до какой степени я ленива, кроме работы... Театр меня научил. Кроме вот этого.

М.Н.: Вы имеете в виду в бытовом смысле?

Т.С.: Да. Чудовищно просто... Я, например, когда из своей комнаты иду, думаю, что я должна взять по дороге, чтоб, не дай бог, не вернуться.

М.Н.: Татьяна Ильинична, я хотел у вас спросить: снится ли вам папа ваш?

Т.С.: Нет. Долгие годы у меня было полное ощущение диалога с ним. Сейчас ушло. Хотя я все равно знаю, что... Ну вот стихи мне пришли первые, в год моей первой персональной выставки, это я вам говорила. Сейчас — меньше. Я про Феликса хочу рассказать. Вот, например, чему он меня научил: что каждую пьесу надо брать своим жанром, другим жанром

Феликс Берман и его уроки

М.Н.: Пьесу брать другим жанром?

Т.С.: Да.

М.Н.: Это что значит?

Т.С.: Написана, допустим, драма, а я делаю цирк. Мы так с ним сделали Володина. Знаменитый был спектакль «Аттракционы» в Ленком.

М.Н.: То есть нарушать единство жанра, да?

Т.С.: Не единство, а контраст.

М.Н.: Создавая таким образом контраст, правильно?

Т.С.: Да. Именно к цирку он меня... С Наумом тоже, Швейка мы делали, (первый спектакль в Челябинске, мы с ним до этого работали), я ему тоже цирк предложила (эскиз в Бахрушке есть). И он очень хорошо им воспользовался.

М.Н.: Получился спектакль по такой эпопее огромной?

Т.С.: Нет, почему, нормальный спектакль. Почему огромная эпопея?

М.Н.: По эпопее, Швейк вы говорите, Ярослава Гашека...

Т.С.: Ну Швейк, пьеса такая сделана, нормально... Левитин меня научил, мальчик: «Не искать оправдания тому, что ты задумала». А потом, когда пригласил Хейфец Лена, делать костюмы для «Короля Лира», я поняла, что если бы начала работать с Хейфецем, я бы не смогла ни с Берманом, ни с Левитиным.

М.Н.: Почему?

Т.С.: А ему нужно было все время оправдание — почему... А начав с ними, когда Хейфецу надо было объяснить, он просил оправдать мой костюм, почему такой костюм, я ему тут же оправдание придумывала. И ему достаточно было, ему не надо было, чтобы я переделывала. А вообще, это история интересная, моих костюмов к «Королю Лиру».

М.Н.: Расскажите.

Т.С.: В этом Малом театре.

М.Н.: Расскажите.

Т.С.: Рассказать?

М.Н.: Да.

Т.С.: А это уже не про отца!

М.Н.: Ничего, у нас живая беседа.

Шапка Короля Лира

Т.С.: Хейфец пригласил меня для того (он так и объявил), чтобы усилить все это дело, я уже была более-менее известным художником. Я придумала костюмы, которые Сергей Бархин считал новаторскими, чтобы вы знали. Я придумала как бы пракостюмы. Откуда возникли аксельбанты какие-то, как это было вначале узлами, все это были узлы, и во что они потом вылились. Царев играл Лира, должен был играть Лира. Значит, первая встреча: Царев попросил начало показать. Ну и только начало я показываю. Царев начал выступать, что художник не прочел пьесу, не знает, с чего начинается, а чем кончается... Это у меня второй случай, еще один такой был. Он выступает, а Хейфец сидит тихо. Когда все кончилось, я Лене потом говорю: «В следующий раз я начну отвечать, если вы не будете». А Царев потом Лене сказал, что он напал что-то на художника. А кончилось тем... Меня защищал Анненков. Вот тут уже Анненков, я их путаю: актер Анненков, а искусствовед, театровед Аннинский). Анненков меня успокаивал. Но когда начались примерки, Анненков был самый капризный, а Царев был ангел. Он был у меня весь в железных кнопках таких огромных. Костюм был тяжелый. Он мне говорит: «А можно чуть легче сделать?» Я говорю: «Ну не знаю. Нет». Хейфец очень странно себя тоже вел: что-то они решают...

М.Н.: (*Смеется.*) Это была ваша небольшая месть такая, да?

Т.С.: Мсть?

М.Н.: Да. То, что вы говорите: «Легче сделать костюм нельзя».

Т.С.: Нет...

М.Н.: Нет?

Т.С.: Нет, действительно, ну кнопки. Нет, тогда не было. Но с Ленечкой я потом пообщалась достаточно хорошо. Я работала уже с другими, так что он для меня не был первым режиссером. У него помощники, что-то они решают, я подхожу, а он: «Мы решим, вам скажем!» Кроме того, там странная была система: обычно, когда что-то новое появляется, дают мне, и я надеваю на актера, как это должно быть. Значит, связали для Гертруды шаль роскошную. Мне не показали. Она вышла, и Леня из зала кричит: «Старуха!» Потом меня спрашивает: «А где эта роскошная шаль?» Я говорю: «Вы же сказали, что старуха, она больше не наденет». Заказали к костюму Лира, такой был костюм небогатый, а я заказала ему черно-бурую шапку. Сделали ее во МХАТе и вложили туда картонный околыш. Опять мне не дали, надели на него, она на нем стоит. «Убрать!» — кричит Хейфец. Потом проходит время, я сижу в буфете, и по радио Сельвинскую просят в зал, Хейфец просит. Идет репетиция, я к нему подхожу, он, не поворачивая головы, говорит: «Пока идет репетиция, придумайте новый, более богатый костюм Королю Лиру». Я повернулась и пошла домой. Через три дня мне звонит Леня. Тут я ему высказала все, что о нем думаю. Я говорю: «У него была шапка богатая, которую вы отменили. Там просто надо вынуть этот околыш, и все будет нормально». Он мне говорит: «Я спрошу Царева, согласен ли он». Представляете?! Режиссер! Ну конечно Царев согласен! Царев ангел был потом! Потом Хейфец говорил обо мне, что я — женщина высокого класса.

Еще такой случай был. Петр Павлович Васильев. Мы делали с ним в самодеятельности спектакль, бесплатно я делала. Костюмы. Я в абстракции тогда не очень, он сидел со мной вместе, и мы такую абстрактную композицию с ним вместе сочиняли. Было очень здорово. И так дружно, и ладно, и понимали друг друга. И он просит меня показать часть костюмов хотя бы. Надели часть костюмов, а там остальные-то актеры в чем были. И он начал из зала орать: «Халтура! Вот этот хороший, этот хороший, а это — халтура, и это — халтура!» Я пришла домой, выпила рюмочку коньяку... С Петей я тоже такое делала. Про Петю я вам не рассказывала?



Окно, 2012

М.Н.: С Фоменко?

Т.С.: Фоменко. Не рассказывала?

М.Н.: Нет, вы рассказывали некоторые эпизоды.

Т.С.: Как я рюмочку выпивала, это я рассказывала про Петю?

М.Н.: Расскажите.

Т.С.: А про Васильева еще нет?

М.Н.: Нет-нет.

Т.С.: Ну для куража... Говорю: «Значит, Петр Павлович, вы редко встречали...»

М.Н.: Вы ему позвонили?

Т.С.: Да. «...большого бесребреника чем я. Вы попросили показать часть костюмов. Те, которые вам понравились, сделаны мной, а остальные, значит, были...» — «Но я же не кричал, что это вы халтурите!» Чудный ответ, да? Я говорю: «Больше вы со мной так не ведите себя». Я прихожу на следующий день, а актеры — вы не знаете что такое актеры, даже самодеятельные. Я что-то поправила, они — к нему: «Мне тут подкоротили, мне тут что-то...» — «Кто?» — спрашивает режиссер. «Художник». —

«Художник? Всё!» После этого — лучший друг! Ну и с Петей была тоже история, это я вам, по-моему, рассказывала, да?

М.Н.: Ага.

Т.С.: Вот два эпизода... Я уходила, просто не делала с режиссером, если мне он не нравился. Один ученик Петин... Нет, не надо, это, наверно, вам неинтересно.

М.Н.: Интересно, расскажите.

Т.С.: Интересно? Петин ученик для Челябинского театра, только не драмы, а ТЮЗа, там тоже был главный режиссер, с которым мы работали, очень он мне нравился, но его убрали, совершенно напрасно. Значит, чтобы я с ним делала спектакль. А он — Петин ученик, важный такой: «Надо их поразить красотой, эскизы костюмов отправить по компьютеру, у них, наверно, нет компьютера...». Вы можете себе представить? Эскизы костюмов отправлять по компьютеру, не общаясь ни с актером, ни с кем? И поразить их красотой. Это говорить мне, которая именно этим и занимается всю жизнь. А Челябинск — вообще мой город. Я ему что-то очень хорошее придумала, он ничего не понял. Да, поразить их, это в современном театре: очень красивые меховые маски им надо всем сделать. Там звери какие-то... Надевать на актера маску — чудно, да? Словом, я позвонила в Челябинск, что я с ним работать не буду. Челябинск сказал: «Если вы не хотите, и нам тоже ни к чему...». *(Усмехается.)* Вот такая была история с молодым режиссером. А вот этот молодой меня потряс.

М.Н.: Этот — это...

Т.С.: Левитин. Ему было двадцать лет, когда мы с ним познакомились, и при мне, очень быстро, стало двадцать один. А он из Одессы, видел мой спектакль в оперетте. Наум Орлов тоже ему был известен: когда ему надо было делать диплом, он попросился к Орлову. И Наум ему сказал: «Кого вы хотите: Сельвинскую или другого художника?» Он сказал: «Сельвинскую». При этом Наум, пригласив меня, не сказал мне, что будет молодой. Хитрые, черти! А когда я уже приехала и выяснила, Наум решил его разыграть. А у меня была тогда нейлоновая шубка искусственная... Значит, мы с ним сели в первый ряд, я шубку расстегнула, позвали его, он идет... Красивый был: у него волосы такие... Идет по сцене, со мной здоровается. Потом он рассказывал, что у него руки потели. Начали мы с ним работать. Он мне говорит, что ему декорации не нужны. Я говорю: «Ну давай». Мы «Варшавскую мелодию» с ним ставили. Я говорю: «А как же вы будете делать?» Он мне пластически показывает первую сцену, вторую, третью, четвертую, на пятой сломался. Пришлось все-таки немножко декораций сделать. Мы с ним лет тридцать дружили, после чего он меня предал. Причем такая глупость: предал ради Боровского. Обманул меня, это я вам, по-моему, рассказывала.

М.Н.: Да-да.

Т.С.: Ну скажи мне: «Я хочу с Боровским!»

У искусства есть стержень

М.Н.: Татьяна Ильинична, я хотел вернуться к теме вашего отца, если позволите. Помните ли вы, в общении с ним, говорил ли он вам, как он переживал и как относится к изменениям, которые произошли в советской культуре и советском государстве на рубеже 1920-х и 1930-х годов?

Т.С.: Нет, этот рубеж я не помню, конечно...

М.Н.: Я как раз хочу узнать, говорил ли он как-то, артикулировал?

Т.С.: Нет, он только сказал, что...

М.Н.: Коммунисты ушли в подполье.

Т.С.: В подполье. Это я единственное помню.

М.Н.: И никак он эту фразу, вы не помните, не уточнял, не развивал?

Т.С.: Нет.

М.Н.: То, что подлинно идейные люди, не конъюнктурщики, не бюрократы, ушли, в этом смысле, в себя куда-то, да?

Т.С.: Да, внутрь себя. Ну и потом, вы извините, но страх был. Страх был все время.

” Чем сейчас отвратительное время — но у меня нет внутреннего цензора. А тогда был внутренний цензор.

М.Н.: А как вы считаете, настанет ли время обращения к творчеству вашего отца?

Т.С.: Обязательно.

М.Н.: Настанет?

Т.С.: Я не сомневаюсь.

М.Н.: А с чем это может быть связано, как вы считаете?

Т.С.: Я вообще считаю: не может продолжаться такое... такая пошлость...

М.Н.: Нынешнее безвременье, вы имеете в виду?

Т.С.: Да. Сейчас же пошлость: «Кривое зеркало» — даже без звука я не могу их видеть! Я выключаю, снимаю, у меня наушники, — не слышать эти голоса! Кривляние сплошное! И все в восторге. Пошлость царствует, но она не может продолжаться.

М.Н.: В истории так было, что процессы бывали регрессивные, и очень длительно регрессивные.

Т.С.: Да, я про это и хочу сейчас сказать. Что «измы» всякие были, чего-то они дают в результате, но само искусство, главное, оно все равно... Это вокруг идет. Есть стержень, и он никуда не денется, и так и будет.

М.Н.: И поэтому, в любом случае, так получится, что...

Т.С.: Рано или поздно должно.

М.Н.: Рано или поздно.

Т.С.: Я в этом не сомневаюсь.

М.Н.: Спасибо, Татьяна Ильинична!

Т.С.: А то, что сейчас... Постой, у меня один мой друг бывший, искусствовед, сказал, что я нахожусь на отшибе современного искусства. Я это сказала на своем юбилее, в зале Музея современного искусства — раздался гомерический хохот. Я на отшибе, вы понимаете? А он хочет, чтобы... Еще директор Зверевского центра Сосна: у меня такие картины были... Это я, после того как Фоменко меня предал, придумала, я вам рассказывала, графика с живописью.

М.Н.: Ага.

Т.С.: Но про разговор с Сосной не рассказывала. Он — директор, очень он мне понравился, и я ему очень понравилась. Но на выставке он издал такой листочек, что я ничего нового не принесла. Я ему говорю:

«Как же нового я не принесла, когда так никто не работал?» — «Ну, вы — новатор, но не авангардист!» — «А, — я говорю, — я поняла, что такое авангардист: это когда через задницу». У него вся морда перекосилась, после этого уже мы с ним больше не общались.

М.Н.: (*Смеется.*) Не политкорректно вы выразились!

Т.С.: Можете теперь заканчивать.

М.Н.: (*Продолжает смеяться.*) Теперь можно все!

(фотографии Олега Вакулина и из архива Т.И. Сельвинской)